



У МЕНЯ С САМОЙ СОБОЙ УГОВОР: ПО УТРАМ О ДЕНЬГАХ не думать. Так подросток старается не думать о сексе. О сексе тоже стараюсь не думать. И о Люке. И о смерти. Что означает — не думать о матери, она умерла в отпуске прошлой зимой. Много всякого, о чем нельзя думать, чтобы по утрам удавалось писать.



Адам, хозяин моего жилья, наблюдает, как я выгуливаю его пса. Возвращаюсь, а он в костюме и сверкающих ботинках, опирается на свой “бенц” на подъездной дорожке. По утрам ему нужна поддержка. Как и всем нам, видимо. Упивается контрастом между собой и мной, всклокоченной и в трениках.

Когда мы с собакой подходим, Адам говорит:

— Рано встала.

Я всегда рано встаю.

— Да и ты.

— Встреча с судьей в суде в семь ровно.

Обожай меня. Обожай меня. Обожай судью, в суде и семь ровно.

— Кто-то же должен это делать.

Не нравлюсь я себе рядом с Адамом. Он, по-моему, не хочет, чтоб я себе нравилась. Даю собаке протаскать меня на несколько шагов мимо него — к белке, что протискивается сквозь рейки сбоку от здорового Адамова дома.

— Ну что, — говорит он, не желая отпускать меня слишком далеко, — как там *роман*?

Это слово он произносит так, будто его придумала лично я. Все еще опирается об автомобиль и поворачивает ко мне только голову, словно его поза слишком дорога ему и он не желает ее менять.

— С ним все хорошо. — У меня в груди начинается пчелиная возня. Несколько пчел ползет по руке с внутренней стороны. Один разговор способен испортить мне все утро. — Пора к нему возвращаться. Короткий день. Работаю двойную.

Втаскиваю пса на заднее крыльцо, отстегиваю поводок, пропихиваю животное в дверь и быстро ссыпаюсь по лестнице.

— Сколько страниц набежало?

— Пара сотен, наверное.

Не останавливаюсь. Уже на полпути к своей комнате сбоку от его гаража.

— Знаешь, — говорит он, отталкиваясь от своей машины, ожидая моего к себе полного внимания. — На мой взгляд, это невероятно: тебе, по-твоему, есть что сказать.



Сажу у себя за столом и глазею на фразы, которые написала перед прогулкой с собакой. Не помню их. Не помню, что писала их. Как же я устала. Смотрю на зеленые цифры на радиочасах. К обеденной смене мне одеваться меньше чем через три часа.

Адам учился в колледже с моим старшим братом Калемом — вообще-то, кажется, Калек был тогда немножко влюблен в Адама, — и поэтому Адам не сядет мне на голову с арендной платой. И еще не-

много сбрасывает за то, что я выгуливаю его собаку по утрам. Эта комната в прошлом была садовым сараем, и в ней до сих пор пахнет суглинком и прелой листвой. Места здесь впрытик на односпальный матрас, стол и стул, а плитка с одной конфоркой и тостер — в уборной. Ставлю чайник на горелку — выпью еще черного чаю.

Пишу не потому, что, по моему мнению, мне есть что сказать. Пишу, потому что, если не писать, все кажется еще хуже.



В девять тридцать встаю со стула, отстирываю свою белую плиссированную блузку от пятен говяжьей вырезки и черники, утюжу насухо на столе, вешаю на плечики, цепляю крюк плечиков за петлю у себя на рюкзаке. Влезаю в черные рабочие брюки и футболку, собираю волосы в хвост, закидываю рюкзак за спину.

Выкатываю велосипед задом из гаража. Он там едва помещается — из-за всякого барахла, которое Адам держит: старых колясок, детских стульчиков, прыгунков, матрасов, конторок, коньков, скейтов, пляжных кресел, факелов тики, настольного футбола. Остальное место занимает красный микроавтобус его бывшей жены. Машину эту она бросила вместе со всем прочим — кроме детей, — когда в прошлом году переехала на Гавайи.

“Хорошая машина пропадать вот так”, — сказала как-то раз горничная, разыскивая шланг. Ее зовут Оли, она из Тринидада, не выбрасывает даже совочки, приложенные к коробкам со стиральным порошком, — шлет их домой. Этот гараж сводит Оли с ума.

Я еду по Карлтон-стрит, проскакиваю под красный на Бикон и устремляюсь к Комм.-ав.¹ Мимо грохочет транспорт. Соскальзываю с седла вперед и жду вместе с растущей толпой студентов, когда переключится светофор. Некоторые восхищаются моим коном. Это старый велочоппер, я нашла его в мае на свалке в Род-Айленде. Мы с Люком привели его в порядок, надели новую промасленную цепь, подтянули тормозные тросики и раскачивали ржавый подседельный штырь, пока он не вылез до нужной мне высоты. Переключатель скоростей вделан в руль, отчего кажется мощнее, чем на самом деле, — будто где-то запрятан двигатель. Мне нравится все это ощущение как от мотоцикла — рукоятки руля вздернуты, седло простегано, и есть спинка, на которую я опираюсь, когда качусь по инерции. В детстве у меня такого велика не было, а вот у лучшей подружки был, и мы менялись велосипедами на несколько дней за раз. Эти студенты-бэушники² слишком молоды, на велочоперах не катались. А мне уже тридцать один, у меня мама умерла.

Светофор переключается, и я возвращаюсь в седло, пересекаю шесть полос Комм.-ав. и жму на педали через мост БУ на кембриджскую сторону реки Чарлз. Иногда не успеваю добраться до моста и надламываюсь. Иногда начинается на мосту. Но сегодня все в порядке. Сегодня держусь. Выкатываюсь на боковую дорожку с приречной стороны Мемориал-драйв. Разгар лета, река словно бы утомлена. Вдоль берегов толкается в тростники пенная белая дрянь. Похоже на белый налет, что копится в уголках рта у матери Пако под конец долгого дня беспрестанных кухонных жалоб. По крайней ме-

ре, я там больше не живу. Даже садовый сарай у Адама лучше, чем квартира под Барселоной. Переезжаю через улицу у Ривер-стрит и Уэстерн-авеню, где сворачиваю с бетона на грунтовую тропу, что ведет ближе к урезу воды. Со мной все в порядке. Со мной по-прежнему все в порядке — пока не замечаю гусей.

Они на пяточке у опоры пешеходного моста, то ли двадцать их, то ли тридцать, суетятся, тянут шеи, втыкают клювы себе же в перья или в перья соседям — или в немногие уцелевшие травяные кочки. Приближаюсь — все громче их гомон, крики, бормотанье и возмущенный клекот. К помехам на своем пути они привычны и, чтобы убраться у меня с дороги, двигаются совсем чуть-чуть, а некоторые, когда проезжаю мимо, делают вид, будто щипнут меня за лодыжку; есть и такие, что предоставляют спицам у меня на колесах прошелестеть по перьям на гузках. И только истеричные кидаются в воду, вопя так, будто на них нападают.

Люблю я этих гусей. От них у меня делается туго и полно в груди, они помогают верить, что все опять наладится, что переживу и теперь, как не раз переживала раньше, что бескрайняя угрожающая пустота впереди — всего лишь призрак, жизнь светлее и игривее, чем я привыкла ее видеть. Но по пятам у этого чувства — у подозрения, что еще не все потеряно, — приходит порыв рассказать маме, сообщить ей, что сегодня со мной все в порядке, я ощутила нечто близкое к счастью и, возможно, все еще способна чувствовать себя счастливой. Ей такое было бы интересно. Однако рассказать не получится. В любое такое вот хорошее утро в эту стену я всегда и влетаю.

Мама будет волноваться за меня, а я не могу сообщить ей, что у меня все в порядке.

Гусям нет дела до того, что я опять плачу. Они привыкли. Фыркают, верещат и заглушают меня. Приближается бегунья, сходит с тропы, чуя, что я ее не вижу. Ближе к здоровенной лодочной станции гуси редуют. У моста Ларца Андерсона поворачиваю направо, вверх по Джей-Эф-Кей к Гарвард-сквер.

Такое вот, что ли, очищение — эта поездка, на несколько часов обычно хватает.



“Ирис” размещается на третьем этаже здания, которым владеет некий Гарвардский клуб, начавший сдавать это место лет десять назад, чтобы погасить чуть ли не сто тысяч долларов налоговых долгов. Летом студентов тут немного, и для них есть отдельный вход на другой стороне громадного кирпичного особняка, но я слышу, как они иногда репетируют. У них свой театр, где они ставят пьесы, в которых мужчины рядятся в женщин, и своя певческая капелла, что носится туда-сюда, круглосуточно облаченная в смокинги.

Я пристегиваю велосипед к металлическому шесту парковочного знака, взбираюсь по гранитным ступеням и открываю здоровенную дверь. Тони, из старших официантов, уже на середине первого пролета, вещи, полученные из химчистки, несет на согнутой руке. Он забирает себе все хорошие смены, а потому форменную одежду ему по карману чистить профессионально. Лестница парадная, укрыта грязным ковром, заляпанным пивом, а когда-то он, похоже, был роскошно-алым. Даю Тони добраться до вер-

шины пролета и повернуть на следующий, после чего начинаю подниматься сама. Миную портреты президентов, состоявших в этом клубе: Адамс, Адамс, Рузвельт, Рузвельт и Кеннеди. Второй пролет поуже. Тони поднимается медленно — все еще на полдороге. Замедляюсь еще сильнее. Свет на вершине лестницы исчезает. Спускается Гори.

— Тони, старина, — кричит он. — Как твое ничего?

— Стоит, блестит и радуется.

Гори радостно хмыкает. Лестница содрогается — он движется на меня.

— Поздненько, девонька.

Не опаздываю. Это он говорит женщинам вместо “здрасьте”. Вряд ли ему известно мое имя.

Ступенька, на которой я стою, проседает, когда он проходит мимо.

— Впереди людный вечер. Сто восемьдесят восемь броней, — говорит через плечо. Уж не кажется ли ему, что сейчас время после обеда? — А парень по вызову не вызывается — сказал, что заболел.

По вызову у нас работает Гарри, мой единственный друг в “Ирисе”. Он не заболел. Он на пути в Провинстаун с новым младшим официантом.

— Доставай свою большую клюшку, — говорит Гори.

— Из дома без нее не выхожу, — говорю я.

Как-то так вышло, что на собеседовании он вытаскивал из меня эту тему с гольфом. Сам он, как выяснилось, играет в крокет. Не на садовых вечеринках, а профессионально — участвует в соревнованиях. Вроде как один из лучших игроков в стране. “Ирис” он открыл после какого-то крупного выигрыша.

Где-то ниже меня он трижды громко шмыгает носом, отхаркивает, глотает, охает и выходит на улицу; при нем вся наличка, вырученная прошлым вечером, лежит в сумке с надписью “КЕМБРИДЖСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК” крупными буквами. Кто-то привесил Гори на спину бумажку-липучку, на ней выведено: “Ограбь меня”.

— Кейси блядь Кейсем³, — говорит Дана, когда я добираюсь до вершины лестницы. — Тебя еще не уволили? — Склоняется над Фабианиной стойкой администратора, составляет план рассадки. Его едва можно разобрать, и он получится гарантированно несправедливым.

Прохожу через зал к уборным, переодеваюсь в белую блузку, стягиваю волосы в положенный тугой пучок. Голову от него жжет. Возвращаюсь, Дана с Тони двигают столики, чтобы забрать в свой сектора многолюдные компании, устраивают всё в свою пользу: большие столы, постоянных клиентов, инвесторов ресторана, кому все бесплатно, зато чаевые оставляют астрономические. Не знаю, дружат ли Дана с Тони за пределами здания, но каждую смену работают вместе, как парочка злых фигуристов, что замышляют очередную подлянку, а затем рисуются, если проделка удалась. Они точно не любовники. Дана не любит, когда к ней прикасаются, — новому младшему официанту она чуть руку не сломала, когда он полез размять ей шею пальцами после ее слов, что у нее мышцу свело, — а Тони безостановочно болтает о своей подруге, но при этом лапает всех официантов мужского пола в любой смене. И Гори, и управляющего Маркуса они улестили напрочь — или, по крайней мере, избаловали. Мы с Гарри подо-

зреваем, что все дело в наркотиках, какие поступают через брата Тони — барыги, который то и дело оказывается за решеткой, и о нем Тони распространяется, только если упьется в хлам, и тогда требует от всех клятву молчания, будто раньше об этом не заикался. Мы зовем Дану и Тони Сестрёнкой-Извращёнкой⁴ и стараемся держаться от них подальше.

— Вы только что забрали два стола из моего сектора, — говорит Ясмин.

— У нас два на восьмерых, — говорит Тони.

— Так и используйте свои, блин, столы. Эти — мои, мудачье. — Ясмин родилась в Эритрее, выросла в Делавэре, но читает много Мартина Эмиса и Родди Дойла⁵. К сожалению, против Сестренки-Извращенки ей не выстоять.

Не успеваю я объединить с Ясмин силы, Дана показывает на меня пальцем:

— Иди за цветами, Кейси Кейсем.

Они с Тони старшие официанты. Полагается делать, что они велят.



Обед — время дилетантов. Обед — он для новичков и старых рабочих лошадок на двойных сменах, эти трудятся столько, сколько управляющие им дадут. Я обслуживаю столики с восемнадцати лет, а потому из новенькой в рабочие лошади превратилась за полтора месяца. Деньги в обед — фуффло по сравнению с ужином, если только не обвалится компания юристов или хмырей с биотеха, празднующих что-нибудь многочисленными мартини, от чего бумажники их расслабляются на купюры. Обеденный зал залит солнцем, оно кажется здесь противоестественным

и искажает все цвета. Мне больше нравится закат, когда окна постепенно чернеют, мягкий оранжевый свет из позолоченных бра скрывает жирные пятна на скатертях и солевые потеки на винных бокалах, за которыми мы недоглядели. В обед мы щуримся на голубой дневной свет. Клиенты просят кофе, едва успевают сесть. Прямо-таки слышно, что там за музыка у Мии, обеденной барменши. Обычно Дейв Мэттьюз⁶. Миа одержима Дейвом Мэттьюзом. Гори нередко трезв, а Маркус добродушен, занят какими-то своими делами у себя в кабинете и нас не трогает. В обед все задом наперед.

Но все быстро. При трех двойках и пятиместном у меня язык на плече еще до того, как часы на Гарвард-ярд бьют час. Нет времени подумать. Ты как теннисный мячик, который гоняют из зала на кухню вновь и вновь, покуда не разойдутся твои столики, все закончится, и вот уже сидишь с калькулятором, складываешь вознаграждения с кредиток и раздаешь чаевые барменше и помощникам. Дверь вновь на замке, Миа врубает на полную громкость “Рухни в меня”⁷, и после того, как все столики расставлены по местам, бокалы начищены, а приборы завернуты в салфетки к завтрашнему обеду, у тебя есть час на Площади⁸, после чего вкатываешься обратно — к ужину.



Иду к себе в банк рядом с “Коопом”⁹. Очередь. Кассир всего один. “ЛИНКОЛЬН СЛЕГГ”, — гласит латунная табличка. Мои сводные братья называли какашки “слегами Линкольна”¹⁰. Младший таскал меня в туалет — показать, какие у него получаются длинные. Иногда мы ходили посмотреть все вместе. Если мне

когда-нибудь доведется посещать психотерапевта и рассказывать о своем детстве и терапевт попросит меня вспомнить какой-нибудь счастливый эпизод с участием моего отца и Энн, я поведаю о том, как мы все собирались поглазеть на несусветно длинную слегу Линкольна, произведенную Чарли.

Когда подходит моя очередь у стойки, Линкольну Слеггу веселье у меня на лице не нравится. Некоторые люди, они такие. Они считают, что чье угодно веселье — всегда за их счет.

Кладу перед ним пачку наличных. Она ему тоже не нравится. Казалось бы, кассир должен быть рад за тебя, особенно после того, как ты дорос до вечерних и двойных смен и готов положить себе на счет \$661.

— Пополнить счет можно и в банкомате, между прочим, — говорит он, беря деньги кончиками пальцев. Ему не нравится трогать деньги? Кому же может не нравиться трогать деньги?

— Это понятно, но у меня наличка, и я просто...

— Когда наличные окажутся в машине, их уже никто не сворует.

— Просто хотела убедиться, что они попадут на мой счет, а не на чей-нибудь еще.

— У нас строго регулируемый системный протокол. И все записывается на видео. То, что вы делаете сейчас, гораздо менее надежно.

— Я просто рада, что кладу эти деньги на счет. Прошу вас, не портите мне праздник. Эти деньги даже вздремнуть не успеют, как их всосут акулы федерального кредитования, поэтому дайте мне порадоваться, ладно?

Линкольн Слегг пересчитывает мои деньги, шевеля губами, и не отвечает.

Я в долгах. В таких долгах, что даже если Маркус отдаст мне все обеденные и все вечерние смены, какие у него только есть, мне все равно из долгов не выбраться. Мои займы на колледж и магистратуру подпали под дефолт, пока я была в Испании, а когда вернулась — узнала, что штрафные, сборы и налоговые расходы чуть ли не удвоили исходную сумму долга. Сейчас мне остается только управлять этим долгом, платить минималки, пока — и в этом все дело — пока... что? До каких пор? Ответа нет. Призрак пустоты — отчасти в этом.

После общения с Линкольном Слеггом плачу на скамейке рядом с унитарной церковью. Занимаюсь я этим скрытно, без шума, но не давать слезам моросить по лицу, когда находит настроение, не могу.

Иду к “Иностранным книгам Сальваторе” на Маунт-Обёрн-стрит. Работала здесь шесть лет назад, в 1991-м. После Парижа, до Пенсильвании, Альбукерке и Орегона, до Испании и Род-Айленда. До Люка. До того, как моя мать отправилась в Чили с четырьмя подругами и оказалась единственной, кто не вернулся.

Магазин кажется другим. Чище. Стеллажи устроили иначе, а там, где раньше были “Древние языки”, поставили кассу, зато все по-старому в недрах — там, где болтались мы с Марией. Меня наняли на французскую литературу, в помощь Марии. Той осенью я только-только вернулась из Франции и решила, что, хоть Мария и американка, мы будем все время говорить по-французски — о Прусте, Селине и Дюрас¹¹, которые были в ту пору очень популярны, но в итоге мы разговаривали по-английски, в основном

про секс, а это, наверное, в своем роде по-французски. Из тех восьми месяцев общения с ней мне теперь вспомнился только ее сон о Китти, ее кошке, — о том, как Китти ей вылизала. Шершавый кошачий язык — это очень приятно, сказала Мария, но кошка все время отвлекалась. Полижет у Марии — и переключается на свою лапу, и Мария проснулась от собственного окрика: “Соберись, Китти, соберись!”

Но Марии в глубине магазина нет. Никого нет, даже Манфреда, циничного восточногерманского немца, впадавшего в ярость, когда люди спрашивали Гюнтера Грасса, потому что Гюнтер Грасс категорически возражал против воссоединения страны. Всех нас заменили детьми — мальчиком в бейсболке и девочкой с волосами до бедер. Поскольку пятница, три часа дня, они пьют пиво — “Хайнекен”, в точности так же, как когда-то мы.

Гэбриел появляется со склада с добавкой пива. Выглядит по-прежнему: серебристые кудри, торс при таких ногах длинноват. Я в него влюбилась по уши в свое время. Такой умница, так любил свои книги, со всеми зарубежными издателями общался по телефону на их языке. Юмор у него сумрачный, едкий. Гэбриел раздает бутылки. Говорит что-то вполголоса, все смеются. Девочка с волосами смотрит на него так же, как смотрела когда-то я.

Работая у Сальваторе, банкротом я еще не была. Ну или, во всяком случае, банкротом себя не считала. Долги мои были куда меньше, а “Сэлли Мей”, “Эд-Фанд”, “Коллекшн Текнолоджи”, “Ситибанк” и “Чейз”¹² ко мне еще не приставали. В доме на Чонси-стрит я снимала комнату у друзей за восемьдесят долларов в месяц. Мы все пытались стать писателями при

работах ради прокорма. Ниа и Эбби трудились над романами, я писала рассказы, а Расселл был поэт. Поспорила бы, что Расселл продержится дольше нас всех. Несгибаемый и дисциплинированный, он вставал в четыре тридцать, писал до семи и пробегал пять миль, после чего отправлялся на работу в библиотеку Уайденера¹³. Но он сдался первым и пошел в юридическую школу. Теперь он налоговый адвокат в Тампе. Дальше — Эбби. Тетя уговорила ее сдать экзамены на агента по недвижимости, просто ради смеха. Потом она пыталась рассказывать мне, что все-таки использует воображение, когда ведет очередных клиентов по дому и изобретает для них новую жизнь. Я видела ее в Бруклайне в прошлом месяце у громадного дома с белыми колоннами. Она склонялась к водителскому окну черного “паркетника” на подъездной дорожке и ожесточенно кивала. Ниа нашла себе специалиста по Милтону — с прекрасной осанкой и трастовым фондом, специалист вернул ей ее роман, прочтя пятнадцать страниц, со словами, что женские нарративы от первого лица действуют ему на нервы. Она зашвырнула роман в помойку, вышла замуж за специалиста и переехала в Хьюстон, где специалисту дали работу в Райсе¹⁴.

Я не понимала. Ни одного из них не понимала. Один за другим они сдавались, съезжали, и их заменяли инженеры из МТИ¹⁵. Парень с волосами, собранными в хвост, и с испанским акцентом зашел к Сальваторе в поисках Бартова *Sur Racine*¹⁶. Мы поговорили на французском. Он сказал, что на дух не выносит английский. Французский у него оказался лучше моего — отец у него был из Алжира. В своей комнате на Сентрал-сквер сварил мне каталанскую